В. М. Чернов

ПЕРЕД БУРЕЙ

МОСКВА
«МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ»
1993

ББК 63.3(0)53
Ч49

Чернов В. М.
Ч49 Перед бурей. Воспоминания. / Предисл. С. Сергеева.— М.: Междунар. отношения,— 1993.— 408 с.
ISBN 5-7133-0583-X

«Перед бурей» — переиздание мемуаров В. М. Чернова, вышедших в 1953 году в Нью-Йорке. Автор мемуаров — создатель программы эсеровской партии, министр земледелия во Временном правительстве, председатель разогнанного Учредительного собрания — рассказывает о своей жизни с детства до 1920 г., когда он нелегально покинул Россию, рисует яркие портреты многих деятелей эсеровской партии и других политиков России.

Для профессиональных историков и всех интересующихся историей России.

0503020000—041
Ч ——————— КБ—34—64—93 ББК 63.3(0)53
003(01)—93

ISBN 5-7133-0583-X

© Подготовка к изданию и оформление изд-ва «Международные отношения», 1993

История любит победителей и чаще всего беспощадна к побежденным. Виктор Михайлович Чернов (19.XI.1873—15.IV.1952), лидер эсеровской партии, ее крупнейший теоретик, избежал судьбы большинства «победителей» русской революции. Ему не пришлось каяться в своих грехах, предавать своих товарищей, отказываться от своих взглядов, не пришлось «сравнивать» российскую каторгу с советскими лагерями. Его «наказанием» была 32-летняя жизнь в эмиграции среди единомышленников, в интеллектуальном труде, который был его призванием.

Печатное и рукописное наследие Чернова огромно. Предлагаемые читателю мемуары «Перед бурей» — лишь небольшая часть его. Главный же вклад Чернова в социально-экономическую мысль — его теоретические труды, прежде всего его сочинения по аграрному вопросу. Он касается аграрных проблем во многих работах, основными же являются «К вопросу о социализации земли», «Крестьянин и рабочий как экономические категории» и «Марксизм и аграрный вопрос». Высшее выражение идей Чернова — аграрная программа эсеровской партии, принятая на съезде в 1906 году.

К сожалению, история эсеровской партии, как и ее лидера Чернова, никем серьезно и объективно не исследовалась. Первая брошюра, посвященная эсерам, была написана Степаном Слетовым, одним из деятелей этой партии, соратником Чернова, работавшим с ним в тамбовских кружках. Он писал: «Ясно, что теперь еще не наступило время для истории П. С. Р. Не разработан еще

религиозен; убегая от людей, уединяясь в пустую темную комнату, простирался на земле перед образами и молился жарко, обливаясь тихими слезами умиления или жгучими слезами тоски. Первое умственное мое увлечение было патриотическим. Девятилетним ребенком под влиянием прочитанной книги о русско-турецкой войне я сочинил стихи на взятие Плевны. Одиннадцати-двенадцати лет я упивался чтением по истории всевозможных войн, которые вела Россия. Берлинский трактат был для меня неизгладимым личным оскорблением. Я удивлял соквартирантов, гимназистов и реалистов старших классов страстными доказательствами, что Россия во что бы то ни стало должна была тогда овладеть Дарданеллами, там заградить дорогу английскому флоту и, хотя бы вопреки всей Европе, закончить взятием Царьграда дело возврата Балкан настоящему их владельцу — славянству.

Мои патриотические увлечения продолжались недолго. Больше всего «минировал» эти мои позиции Некрасов. Уже тогда — навсегда, на всю жизнь — врезались в мою душу его проникновенные стихи:

Новый год... Газетное витийство
И война — проклятая война!
Впечатленья крови и убийства —
Вы вконец измучили меня...

Никакая цена не казалась слишком дорогой, чтобы купить пору, «когда народы, распри позабыв, в единую семью соединятся».

Я вел уединенную умственную жизнь, жадно и беспорядочно поглощая все книги, какие только попадутся под руку, упиваясь, например, «Письмами из деревни» Энгельгардта наравне с «Вечным жидом», статьями Шелгунова наряду с «Характером» добродушного буржуа Смайльса, газетными телеграммами о сменах министерств во Франции наравне с разрозненными номерами журнала «Дело», отрытыми мной на чердаке в каких-то заброшенных ящиках. Увлеченно делился я почерпнутыми сведениями со сверстниками; с четвертого класса принялся издавать рукописный гимназический журнал, почти целиком наполняя его собственными произведениями в стихах и прозе и рассуждениями по всем областям человеческого ведения и неведения. Затем, как некий Колумб, я открыл Добролюбова, за ним Бокля,

123456789

потом — Михайловского... Голова горела от потока нахлынувших мыслей.

А потом началась кружковщина. Первый кружок, в который повел меня, кажется, старший брат, произвел на меня сильное впечатление. Это было в квартире какого-то офицера — фамилию его я забыл,— который поразил мое воображение тем, что во время чтения какой-то статьи из «Недели» (кажется, «Мед и деготь» Глеба Успенского) и споров о ней тачал сапоги. Офицер был толстовцем, и тачание сапог было с его стороны своего рода демонстративным исповеданием веры. Толстовство вообще тогда сильно шумело. В находившемся неподалеку от Саратова земледельческом училище все ворочавшие мозгами старшие ученики были захвачены толстовским поветрием.

Саратовские «земледельцы» были славные ребята; мы с ними очень сдружились, но спорили до хрипоты целыми ночами. Затем нас повели в другой, тоже очень своеобразный кружок, у некоего Малеева — человека уже сравнительно пожилого, беззаветно преданного естественным наукам и ярого спенсерианца. Там читали сообща вслух «Что такое прогресс?» Михайловского.

Теперь трудно себе представить, насколько в те времена был силен напор толстовских идей. В толстовстве была своеобразная внутренняя сила. Если хочешь бороться со злом, не пробуй побеждать его злом же; этим-то именно оно и растет, как катящийся снежный ком, заражая самое добро. Не принимай ни прямого, ни косвенного участия ни в какой лжи, ни в каком насилии. Сохрани чистоту своей души и своих рук. Мужественно, мученически выноси все насилия, истязания, издевательства, ни на минуту не отказываясь от исповедания той правды, за которую тебя, конечно, подвергнут гонениям; ни на минуту не поддавайся соблазну избавиться от последствий такого исповедания — ни силой, ни хитростью. О, здесь была своя великая притягательность для юношеского сердца, жаждавшего самоотречения и жертвы.

Мы боролись с толстовцами, а у нас самих почва под ногами была зыбкой.

Утешением для нас служило то, что и положение наших антагонистов было не лучше. И они хотели додумать свою систему до конца, не отступая ни перед какими логически необходимыми выводами из нее. И они

сумасшедшего философа. Они ставили перед нами новые вопросы, эти вечные вопросы философии: проблему реальности внешнего мира, свободной воли, оснований морали. Они раскрывали перед нами новые горизонты, толкали к таким книгам, которые не значились в списках В. А. Балмашева. Донецкий будил наш ум, но не овладевал им, как не овладевал им и старик Балмашев. Мы, начавшие развиваться ощупью, самостоятельно, ценившие эту самостоятельность и по-детски гордившиеся ею, шли собственным путем...

* * *

В конце нашего пребывания в гимназии в Саратове появилось новое лицо — М. А. Натансон. Кое-кто из нашего кружка попал в сферу его влияния, хотя более через посредство жены его Варвары Ивановны — для него самого мы по молодости лет представляли недостаточно интересный материал.

Марк Андреевич Натансон — одна из своеобразнейших фигур русской революции. Но он не был ни писателем, ни оратором, ни героем сенсационных приключений, чье дело ярко говорит само за себя. Это был организатор, стоящий за спинами того, другого, третьего и для посторонней публики легко заслоняемый ими. Оценка таких людей обычно приходит с запозданием.

Впервые я встретил его незадолго до окончания гимназии, он к этому времени уже закончил свою вторую ссылку. В первую ссылку он попал в 1872 году — меня тогда еще не было на свете. Между нами был возрастной промежуток почти в четверть века.

Русская молодежь того времени рано начинала жить политической жизнью, зато и средний срок жизни революционера был ужасающе короток. Помню, революционеров, едва переваливших за тридцать лет или даже подошедших к этой грани, мы уже награждали титулом «наши старики».

На политическом небосклоне Саратова Натансон появился, как яркая комета с длинным световым хвостом прошлой славы.

Русская революция началась для нас с полулегендарного кружка чайковцев. И вот нам открывали, что имя Н. В. Чайковского прилипло к кружку лишь по недоразумению; Чайковский после ареста более ярких членов

кружка выпал из него, ушел в странную секту маликовцев, или богочеловеков.

Подлинной осью кружка была чета Натансонов: Марк и первая жена его Ольга, которую Лев Тихомиров считал «второй Софьей Перовской». Натансоновцы устроили побег из тюрьмы самого блестящего из членов кружка — П. А. Кропоткина. Они же устроили известную демонстрацию на Казанской площади в 1876 году, на которой Натансон был рядом с Г. В. Плехановым.

Натансон, самовольно покинув место первой ссылки, не только объехал северные народнические группы и сплотил их в единый союз, впоследствии принявший имя «Земля и воля» подобно прежней группе того же имени, тяготевшей к Чернышевскому, но и представил лучшую программную схему революционного народничества. Основная мысль его при этом сводилась к следующему: во-первых, лавристы, бакунисты, чайковцы и т. п. должны спуститься с облаков на землю. Они должны признать открытыми вопросы будущего движения и отложить до лучших времен все свои споры о проблемах будущего, должны принять за основу своей борьбы тот реальный минимум потребностей и запросов, который уже усвоен народным сознанием и может прочно оплодотворить его волю. Во-вторых, надо отвергнуть поверхностную, летучую агитацию и распыление сил во вспышкопускательстве: социалисты, желающие возглавить народные движения, должны осесть в народе и быть в нем приняты как свои, мирские люди, естественные вожаки во всех делах. Брызжущий остроумием Д. А. Клеменц шутливо определил натансоновцев как «вгнездившихся троглодитов» деревни. Натансон, еще блестящим студентом Военно-медицинской академии, первый выступил против нашумевшей тогда «нечаевщины», а позднее настоял на четком отмежевании от всяких авантюр с золотыми грамотами, подложными царскими манифестами и т. п. По инициативе Натансона из только что начинавшего выходить из употребления расплывчатого, общелитературного понятия о народничестве выкристаллизовалось понятие более тесное и строгое — народничество в собственном смысле этого слова как деятельность не только среди народа и для народа, но и обязательно через народ, чем исключалось использование его как простого орудия; все должно быть проведено через его сознание и волю, ничто не должно быть навязано извне или

степени и отчуждающий и отталкивающий, непонятный другому народу. Эту тлеющую искру отрозненности при желании нетрудно раздуть в настоящий пожар национальной вражды. И ее раздувают. И старые боги Европы — династии, опирающиеся на военную касту, и новые боги — буржуазно-финансовые круги, борющиеся из-за мировых рынков, соперничают друг с другом в этом деле. Можно сказать, что вся Европа, с одной стороны, ежеминутно готовится к еще небывалой в истории всеобщей схватке, а с другой — сама в ужасе отступает перед кровопролитием, к которому она идет. И кто знает, не суждено ли надолго затеряться и погибнуть всей молодой поросли грядущего в кровавом хаосе мировой катастрофы? В нем всплывет все, что только унаследовано старой Европой от веков гнета и насилия. Мы отмечаем каждый раз в истории крупинки добра и, соединяя их в непрерывную генеалогическую линию, ведем ее вплоть до лучших наших идеалов — так соблазнительно рассматривать историю как собственную эмбриологию. Но мы не ставим себе вопроса: а куда же денутся все жестокости и ужасы, сквозь которые пробивалось в истории новое, куда денется наследственно-испорченная кровь поколений, проделывавших эти ужасы и жестокости? Все это, увы, всплывает, а если всплывает, то наваливается лавиной на ростки нового. В конце-то концов, верится, перемелется — все мука будет. Но ведь пока солнце взойдет — злая роса многим глаза повыест. И новому поколению потребуется немалый закал, чтобы пережить все это.

Для меня, признаюсь, был полной неожиданностью тот тон сдержанной, но скорбной меланхолии, который пронизывал всю речь Н. К. Михайловского. Я был ошеломлен: такие мрачные мысли мне как-то не приходили в голову. Субъективно в них не верилось. И, слушая подернутые сумрачностью речи любимого писателя, я был разочарован: я чувствовал в них надлом, душевную усталость. «Неужели это годы берут свое?» — червяком шевелилась мелкая, плоская мысль.

Я, впрочем, попытался еще завести разговор на тему — неужели Михайловский не верит в народную революцию?

— Улита едет, когда-то будет,— ответил он.— Я не сомневаюсь не только в том, что в России будет революция, но и в том, что в ней будут революции. Но в ближайшем будущем — пожалуй, даже до конца моих дней — я в революцию в смысле всенародного восстания не верю. Бунты будут, но бунтует не народ, а толпа. Толпа имеет своих собственных героев, которых порождает и свергает по собственному капризу. Интеллигенция менее всего имеет шансы попасть в герои к толпе. Предводительницей народа она когда-нибудь станет; но толпа еще не народ, и плохо, если народ не вышел из состояния толпы; это значит, что духовно он еще не народился. Пока все это сбудется, много воды утечет. И не только воды, а еще и слез... и крови. Толпа способна только к судорожным взрывам. И хорошо, если нынешние судороги — предсмертные судороги толпы, родовые корчи, за которыми последует нарождение народа. Но я очень боюсь, что все это еще только ложные роды.

— Но тогда откуда же придут перемены? Ведь так, как сейчас, продолжаться не может!

— Очень долго — не может; но недолгое с точки зрения истории слишком долго с точки зрения личной жизни. Я не пророк. Никто не может предсказать, с чего начнется поворотный момент. Может, просто логика культурного сближения с Европой — его, как суженого, на коне не объедешь, а безнаказанно оно ни для кого не проходит... даже для Турции, Персии и Японии. Может тут и финансовое банкротство помочь, и военная катастрофа... мало ли что! Когда недостаточно живых сознательных сил, действуют исторические стихии: воды медленно подымают берег, а там, смотришь, пошли оползни. Будут оползни и у нашего режима...

— Без нашего вмешательства?

— Конечно, не без вмешательства; только вряд ли это вмешательство будет решающим.

— А... террор?

Михайловский несколько мгновений помолчал.

— Террор? Да, вряд ли минует и эта чаша новое революционное поколение. В терроре есть что-то роковое, неизбывное... Как проклятие...

— Значит, вы против террора? Или я не так понял? Конечно, кровь есть ужас; но ведь и революция — кровь. Если террор роковым образом неизбежен, то, значит, он целесообразен, он соответствует жизненным условиям. А тогда...

Михайловский с какой-то особенной, горькой интонацией перебил меня:

Я отозвался, что был. Он верно назвал время и место моего свидания с М. Келлером.

— Ну, так дело ясно. За вами все время по пятам и ходят.

Я вспомнил подозрительные фигуры в сквере, соседей в кофейной Филиппова. Сомнений не было. Надо было принимать меры и заметать следы. О новом свидании с Михайловским и о встрече с Александровым не могло быть и речи. Надо было предупредить их обо всем, а самому поспешно ускользнуть восвояси.

Мы немало колесили по улицам пешком и на извозчике. Убедившись, что удалось провести преследователей, мы забрались отдохнуть в поздний ресторан и просидели до закрытия — до двух или трех часов ночи. Затем опять оказались на улице. Утром часов в 10 был обратный поезд в Москву; я решил двинуться с ним; на вокзал можно было забраться часа за полтора до отхода, не особенно рискуя обратить на себя внимание. На вокзале мне показалось было, что какой-то тип все время внимательно в меня всматривается и не теряет из виду. Но с билетом и посадкой все обошлось благополучно. Я возвращался в Москву в наивном восторге от того, как ловко улизнул от погони. Я был убежден, что меня просто взяли на замечание при выходе из какой-нибудь подозрительной квартиры и что все следы мной заметены. В Москве меня оставили в покое: никакой слежки как будто за мной не было. Я думал, что все идет как по маслу. Будущее несло мне горькое разочарование...

Я уже упоминал, что с первого же года пребывания моего в Москве я вошел в местные радикальные круги. Особенно понравился мне помощник присяжного поверенного Егор Иванович Куприянов — мягкая, вдумчивая натура, соединявшая с большой скромностью не меньшую серьезность в «искании» революционных путей. Куприянов был чужд всякой узости и нетерпимости, этих естественных детских болезней всякого движения. Он был большим сторонником объединения всех течений в одно русло. Ему казалась возможной единая социалистическая партия при каком угодно богатстве теоретических разночтений русской политической действительности.

Затем обращали на себя внимание муж и жена Кусковы: он — спокойный, внимательный, уравновешенный; она — живая, как на пружинах, нервная, беспокойная.

Их взгляды казались мне неопределенными, колеблющимися. По-видимому, они в самом деле переживали период ломки. Их все время пробовали склонить на свою сторону социал-демократы. Под их влиянием они главное внимание свое обращали на «анализ наличных социальных сил». Видимо, ограничение базиса движения одним пролетариатом их пугало, и они добросовестно перебирали все общественные элементы, на которые можно опереться в революционной борьбе. Затем меня очень заинтересовали два приятеля, жившие вместе на одной квартире: наши Орест и Пилад — С. Н. Прокопович и А. Н. Максимов. Они называли себя народниками, но это их народничество было довольно неопределенным. Объединяла их общая вера в будущее народное восстание. Вера эта питалась разными слухами, порой полуфантастическими: так, помню, передавалось тогда из уст в уста, что где-то в Вятской губернии крестьяне нескольких сел снарядили ходоков к английской королеве, чтобы она приняла их в свое подданство. Эти и подобные слухи давали достаточно пищи тогдашней революционной нетребовательности. Мы и малым бывали довольны. С. Н. Прокопович был уже тогда отрицателем политического террора. Я помню несколько своих с ним споров. Он верил во все массовое и отвергал индивидуальное.

Среди либералов голодный год также вызвал изрядное брожение: в год, предшествовавший моему поступлению в университет, в Москве по инициативе И. И. Петрункевича у либералов происходили какие-то конспиративные совещания; в связи с деятельностью астыревского кружка среди либералов проявился интерес к радикалам. Тот же интерес заставил старика Александра Александровича Бакунина изъявить желание познакомиться с современной революционной молодежью. В либеральной гостиной одной из родственниц Бакунина начались журфиксы, которые мы первое время посещали довольно исправно. Нас не мог не интересовать вопрос: что же, собственно, представляют собой русские либералы?

Вообще говоря, у русского либерализма того времени были очень определенные культурная и земско-конституционная программы; они отличались практичностью, узостью и... тусклостью. Но он совершенно не имел своей общей идеологии. Либерализм в одном крыле — просто

пирамиды — путем отмирания глубоких национальных корней. Такое отмирание создавало лишь поверхностный, оранжерейный космополизм. Здоровая сердцевина нации живет не оскудением своей национальной культуры, но органическим ее преображением, и самые границы того, что считается национальностью, расширяются. В России едва ли не первым робким шагом прогресса в этой области было так называемое славянофильство: в нем русское растворялось в общеславянском, и общественность утверждала себя лицом к лицу с государственностью. На Западе процесс этот подвинулся еще далее. Можно сказать, что уже теперь на Западе наряду с патриотизмом немецким, английским, французским народился общеевропейский патриотизм, общеевропейское самосознание. Мне не раз приходилось встречаться с людьми этого типа,— рассказывал мне Рубанович.— Их все еще держит в плену национализм, только он становится расширенным, соборным национализмом. Это все же шаг вперед; только надо, чтобы он не заслонял собой дальнейшего пути. Надо помнить: как в общерусском тонут всевозможные локальные, земляческие патриотизмы, так и над всеми нынешними «соборными национализмами» в грядущем возвысится всеобъединяющий патриотизм вселенский». Здесь я готов бы был даже согласиться с Жоресом,— прибавил Рубанович, тайной слабостью которого была всегда известная доля недоверия к великому французскому трибуну,— что только первые шаги в сторону национального начала отчуждают, уводят от человечества, но дальнейшие полнее к нему возвращают. В этом нет ничего нового для нас, учеников Лаврова, так хорошо понявшего закон жизни новейшего общества — закон непрерывной социализации и интернационализации этой жизни.

Выдвинутый нами на пост представителя партии в Интернационале, Рубанович прежде всего сделал нам доклад о тех трудностях, которые ожидает он встретить на своем пути.

Как известно, создание социал-демократической партии было провозглашено в Минске весной 1898 года; об образовании партии эсеров мы объявили почти четырьмя годами позднее, в январе 1902 года. Полномочия на представительство социал-демократов в Социалистическом Интернационале, полученные Г. В. Плехановым, были признаны без задержки. Дело с нами было сложнее: когда мы постучались в дверь Интернационала, Россия

в нем была уже представлена не только Плехановым, но и еще его соперником-рабочедельцем Б. Кричевским, одним из тех социал-демократов, которых называли «экономистами». Это уже само по себе затрудняло наше положение: согласятся ли поставить для русских третий стул? Не сочтут ли это как бы «премией» за раскол? Но к этому времени акции более умеренного рабочедельчества успели упасть, а акции революционной социал-демократии, представленной Плехановым,— сильно подняться. И так как личные взаимоотношения между Плехановым и Кричевским достигли необычайной остроты, то Рубанович предложил попытаться достичь на этой почве некоторого предварительного сговора с Плехановым. «Не поймите меня превратно,— писал он из Парижа мне в Женеву (к сожалению, могу передать содержание письма лишь по памяти, своими словами),— тут не может быть и речи о каком-то маневре, вроде союза с Плехановым против Кричевского. Я только учитываю одно благоприятное обстоятельство, не зависящее ни от нашей воли, ни от нашего вмешательства. Перспектива того, что место, ныне занятое Кричевским, может оказаться за мной, Плеханова нисколько не беспокоит. Кричевский рядом с ним в бюро Интернационала — это подвергает сомнению монопольное право Плеханова быть рупором русской социал-демократии. Рубанович же с бюро Интернационала — это лишь согласие Интернационала не прерывать организационной связи с тем русским социализмом домарксистского периода, который так блестяще дебютировал в народовольчестве и который ныне возрождается в эсеровстве. Надо ковать железо, пока оно горячо, и поймать Плеханова на его нынешнем, сравнительно терпимом к нам отношении».

Посоветовавшись кое с кем из ближайших друзей, я ответил Рубановичу, что все мы с ним согласны. В России тяга к улучшению наших взаимоотношений с социал-демократами тоже очень заметна: при нашем горячем одобрении кое-где, особенно в Саратове и на Урале, уже возникают даже объединенные группы социал-демократов и эсеров, и, почем знать, быть может, им удастся стать пока еще недостающим связующим звеном для создания в дальнейшем объединенной социалистической партии в России. «Если так,— снова писал нам Рубанович,— я надеюсь, что моя попытка личного сближения с Плехановым найдет поддержку во всем тоне нашей прессы, в

Минор, Гершуни. Всем нам были чрезвычайно дороги и святы великие традиции русского революционного движения, утверждавшие польско-русское братство еще со времен декабристов и кончая идейными основоположниками революционного народничества: Некрасовым, Чернышевским внутри России, Герценом и Бакуниным — за рубежом.

Я пишу это, чтобы объяснить, почему в рядах ППС господствовало тогда величайшее доверие к нашей партии и почему ППС высоко оценивала ее поднявшуюся над национальными распрями всечеловечность. Но именно поэтому, помню, на нас пахнуло чем-то необычным и тревожным от выступления Иосифа Пилсудского в начале 1914 года. Этот властный и энергичный лидер польского социализма всегда производил на меня такое впечатление, что социализм у него был лишь средством, а национализм — целью. И оно было только подкреплено прочитанной им в Париже в январе 1914 года в зале Географического общества лекцией, оставившей сильное впечатление.

Лектор показал себя человеком, знающим, чего он хочет, умеющим зорко следить за направлением общего хода событий, не боящимся предвидеть и предрекать ближайший их оборот и с ним сообразовывать свою тактику. Пилсудский уверенно предсказывал в близком будущем австро-русскую войну из-за Балкан. Не было у него сомнений и в том, что за Австрией будет стоять — да и теперь уже скрыто стоит — Германия. Он высказал далее уверенность, что и Франции нельзя будет в конце концов остаться пассивным зрителем конфликта: день, в который Германия вступится открыто за Австрию, будет кануном того дня, когда Франции придется в силу связующего ее договора вмешаться на стороне России. Наконец, Британия, полагал он, не сможет оставить на произвол судьбы Францию. Если же соединенных сил Франции и Англии будет недостаточно, они вовлекут рано или поздно в войну на своей стороне и Америку.

Анализируя далее военный потенциал всех этих держав, Пилсудский ставил ребром вопрос: как же пойдет и чьей победой кончится война? Ответ его гласил: Россия будет побита Австрией и Германией, а те, в свою очередь, будут побиты англо-французами (или англо-американо-французами). Восточная Европа потерпит поражение от Европы Центральной, а Центральная —

от Западной. Это и указывает полякам направление их действий...

Не могу похвалиться проницательностью: меня осаждали самые разнообразные колебания и сомнения. Да, полагал я, гипотеза Пилсудского не исключена. Но ведь если Россия потерпит ряд поражений, полунемецкая дворцовая камарилья сумеет примирить Николая с Вильгельмом не чересчур дорогой для первого ценой: они как-нибудь по-новому сговорятся о Польше, но никаких «освобождений» из этого для поляков не получится, просто германская доля в Польше увеличится за счет русской. Я, увы, никак и представить себе не мог, чтобы Россия была выведена из войны и на время превращена в германского вассала какими-нибудь другими руками, а не руками Дурново и Протопопова, всегда предпочитавших сохранение дружбы с Германией. Того, что произойдет на самом деле, никто представить себе не мог; Пилсудский тоже не был исключением. Без этого никем не угаданного оборота событий план Пилсудского оказался бы карточным домиком, мечтой политического комбинатора. На этот раз, однако, история обманула все предвидения и все расчеты, но обманула так, что Пилсудский вышел на первых порах несомненным бенефициантом создавшейся конъюнктуры.

В чем должна состоять польская тактика, Пилсудский в своей лекции намекал. Но Пилсудский, видимо, считал нужным объясниться с нами напрямик и расшифровать все, о чем в зале Географического общества говорил обиняком. Ко мне от ППС (тогда это значило — от Пилсудского) явился для совершенно конфиденциальных разговоров старый польский революционер и социалист Иодко (если не ошибаюсь, он кончил жизнь послом Речи Посполитой в Константинополе).

Этот разговор в моей памяти останется как один из самых замечательных, которые мне приходилось вести. Длился он очень долго. Чем дальше подвигался он вперед, тем больше оба мы становились внутренне взволнованными, но именно потому в самых трудных пунктах мы держались с величайшей сдержанностью. В конце концов понимали мы друг друга с полуслова и агитировать друг друга не собирались. А что мы встретились друг с другом не для того, чтобы вести переговоры, а объясниться и распрощаться, это, надо думать, Пилсудскому с самого начала было ясно, а для меня выяснилось тотчас, как

только его посланник коснулся самого существа дела.

— Против истории идти нельзя, нельзя переть против рожна,— говорил он,— не менее абсурдно было бы для нас остаться простыми зрителями событий. Это возможно для кого угодно, только не для нас, поляков. Кто в критический, поворотный момент истории не хочет встать ни на одну из борющихся сторон, тот ничего, кроме тумаков, ниоткуда не получит. Если наша партия своего выбора не сделает, то поляки Кракова и Познани будут драться в рядах немецких армий против поляков Варшавы, Лодзи и Люблина. И мы окажемся если не виновниками, то попустителями этого ужаса. Мы не можем и не должны дожидаться того момента, когда половина поляков окажется мобилизованной в австро-германскую армию, а другая — в русскую для целей полякам одинаково чуждых. Иного выхода нет. Мы сами должны мобилизовать всех поляков и во имя лишь общей нашей цели — освобождения Польши, всей Польши.

— Это неплохо звучит в теории, но как это будет выглядеть на практике?

— Просто и ясно. Если первым, предварительным результатом войны будет поражение России, мы прежде всего должны добиться освобождения русской части Польши, тем более что она и самая большая, и наиболее исконно польская из трех ее частей. Скажите мне прямо: имеем ли мы на это право или не имеем?

— Вы имеете право не только на это, но и на большее — на воссоединение всех трех частей. Но вопрос не в праве, а в том, как это право реализовать. Вы же ведь не думаете, что на это вы будете иметь санкцию Германии и Австрии?

— А почему нет? На это будет тем больше шансов, чем успешнее польская военная сила параллельно с германской будет очищать губернии Царства Польского от русской власти и ее сил и чем большим подспорьем для ликвидации русской власти над Польшей будет нами организованная польская партизанщина, дезорганизующая коммуникации и вообще тыл русских армий.

— В войне нет просто параллельных действий против общего врага, а есть действия союзные.

— Это почти так и все же не вполне так, история знает примеры параллелизма действий и без настоящего союза.

— Во-первых, очень плохие примеры, весьма несовершенные по сравнению с примерами действий, формально объединенных. А во-вторых, простой параллелизм действий еще возможен там, где действующие против одного врага силы имеют каждая свой отдельный фронт и свою отдельную базу. А тут база противорусской войны может быть только целиком в немецких руках, а это ставит вас в полную зависимость от немцев; не обманывайте же самих себя.

— Пусть так, не спорю и понимаю, что это — особенность положения, очень для нас неблагоприятная. Но над этим мы не властны.

— Значит, вы будете организовывать польские бригады, инкорпорированные в германскую армию? Вы будете частью силы, враждебной России и ее союзникам?

— Я буду с вами совершенно откровенен, только, разумеется, то, что будет мной здесь сказано с глазу на глаз, публичному оглашению не подлежит. Мы уже теперь усиленно подготовляемся на случай всеевропейской войны. Да, мы готовы инкорпорироваться в одну из собирающихся действовать на русско-польской территории армий. Только мы предпочитаем германской армии австрийскую. У нас в Галиции уже идет военная подготовка польских военных кадров... Австрию мы предпочли Германии, потому что она слабее и ей можно будет ставить условия.

— А с ее стороны не будет условий — вроде принца из Габсбургской династии на польском престоле или, как наименьшее, ограничение будущего польского государства размерами только русской части Польши?

— Предположим. Однако же, с польской точки зрения, независимое государство даже только из одной части, из русской Польши, все же лучше, чем ничего. Главное для нас — получить какую-либо свою собственную территорию, где будет формироваться самостоятельная польская армия. Не забывайте, что после разгрома царской армии европейский Запад оружия не сложит и немецкий блок раньше или позже испытает, в свою очередь, судьбу России. Вот когда наступит время для освобождения и прусской, и австрийской частей Польши; а немецкий принц, если таковой будет посажен, будет нами низложен.

— Значит, ваши слова о перемене ориентации на французскую есть заранее предусмотренный и спланированный маневр?

— Святая истина, и для Парижа, и для Лондона это не является тайной. Первая фаза войны — мы с немцами против русских. Вторая и заключительная фаза войны — мы с англо-французами против немцев.

С минуту продлилось молчание. Наконец Иодко снова заговорил:

— Теперь все сказано. О подробностях и всяких возможных осложнениях будет время говорить и даже подробно дебатировать потом... если окажется, что есть смысл этим заняться. Но прежде всего — основной вопрос. Зная будущую нашу позицию в надвигающейся войне и зная общий наш план вмешательства в ее ход, сохраните ли вы, сохранит ли партия социалистов-революционеров сочувствие нашей освободительной войне, останется ли в главном и целом нашим союзником, соединяющим свою борьбу против царизма с нашей борьбой, или... или нам грозит расхождение?

Видя, что я молча прошелся несколько раз по комнате, Иодко прибавил:

— Я понимаю, что вы вряд ли решитесь да и вряд ли вправе дать мне ответ без совещания с другими ответственными товарищами... Мы и сами имеем пока в виду лишь дать вам повод и материал для такого совещания. Мы еще не воюем, время у нас есть. Да и военные тучи могут рассеяться. Но все же ведь лучше предвидеть все на худой конец, не правда ли?

Я вскинулся:

— Нужны ли эти оговорки? По совести говоря, они звучат неубедительно. У вас ведь война имеется в виду не на худой конец; напротив, вы ведь, в сущности, возвращаетесь к мотивам времени Мицкевича: «Боже, дай нам европейскую войну, которая освободит Польшу». Вот эта-то ваша психология нас с вами теперь и разводит в разные стороны. Будущая мировая война, если она разразится, будет, с нашей точки зрения, катастрофой, от которой стынет кровь в жилах, и это не позволяет ставить на нее какие бы то ни было ставки...

— О, с точки зрения общей гуманности,— холодновежливым тоном, не без оттенка иронии вставил Иодко,— поверьте, и мы вполне разделяем ваши чувства.

— Нет, вы их не разделяете, ибо они идут гораздо дальше абстрактной гуманности. Поймите же и вы нас. Война расстроит все наши планы и все расчеты, она перевернет все вверх ногами, все предоставит бесконтрольной игре слепых, разнузданных сил. Их последствия никем не могут быть предвидены, их величина заранее измерена и взвешена быть не может. В послевоенном хаосе может бесследно погибнуть все, в чем мы видели лучшее из своих завоеваний, в чем была наша гордость. Тот план, который мы вычитывали и вместе боялись вычитать из парижской лекции вашего лидера, будет одной из дерзновеннейших авантюр в истории. Ее успех не вовсе исключен, но если судьба им ее и увенчает, то с дальнейшими неизмеримыми последствиями, которые могут оказаться роковыми...

— Ваше пророчество разделяет судьбу всех пророчеств: оно туманно. Вы хотите сказать: Крез, перейдя Галис, разрушит большое царство. Но вы забываете, что нам терять нечего.

— Терять можно не одни лишь материальные и юридические ценности, но и моральные. Скажу немного. Будь ППС не более как чисто национальная партия...

— Более глубоко национальной, чем наша партия, в Польше нет!

— Я сказал: чисто национальная. У такой партии план ваш был бы естественным. Националист способен делать самую азартную ставку на всеобщее пришествие «труса, глада, огня, меча и нашествия иноплеменных», лишь бы была достигнута его национальная цель; он не ставит вопроса, не слишком ли дорогой ценой обойдется она всему человечеству. Его лекарства всегда могут оказаться горше самой болезни. Но партия социалистическая может иметь только такую стратегию и тактику, при которой с ней сможет все время идти в ногу и весь Интернационал.

— До Бога высоко, до Интернационала далеко. Нас сейчас интересует не он, а ваша партия.

— Наша партия? Думаю, что могу уверенно сказать за нее: с болью души нам придется отметить: наш с вами доселе ничем не омраченный союз в борьбе против царизма неизбежно оборвется.

— Как? Вы прекратите борьбу с царизмом?

— Мы ее не прекратим, но воинские части, инкорпорированные в одну из немецких армий, будут всем русским народом встречены как его враги, а не союзники; ничего другого вы ожидать не можете.

И на протестующий жест Иодко я продолжал:

— Понимаю, что вы такими стать не хотите, но

объективная логика вещей будет сильнее ваших желаний и субъективных намерений. Величайшее русско-польское отчуждение придет, и не думаете ли вы, что из него может родиться в будущем какой-нибудь акт возмездия со стороны России?

— Должен ли я это понять как угрозу?

— Нет, об угрозе с нашей стороны не может быть и речи. Я говорю не о нашей России — когда-то она будет. Говорю о России, податливой к сведению национальных счетов, о России, для которой оправданием противопольских чувств будет то, что она видела вас против себя под знаменем Габсбургов или Гогенцоллернов, для нее это безразлично...

Иодко был, видимо, глубоко взволнован. Надо было кончать. Фразы были излишни. Мы говорили на разных языках.

— Хочу верить, что польский народ когда-нибудь разочаруется в политике дерзновенных международных авантюр и что его социалистические лидеры захотят вернуться с путей, которые сейчас нас непоправимо разделяют, на те пути, которые нас соединили и сдружили, смею думать, на благо обоих народов. Верьте, что тогда протянутая вами рука встретит нашу братскую руку без оглядки на прошлое, со взглядом, устремленным не назад, а вперед.

Иодко поднялся с кресла и взялся за шляпу.

— Мне тоже было больно услышать то, что я сейчас от вас услышал. Хотелось верить, что если уж не вся ваша партия в целом, то хоть лично вы — мы вас считали испытанным другом Польши — нас поймете и не обидите порицанием. Но нет, русский поляка, должно быть, никогда не поймет. Вы никогда не бывали в положении, подобном нашему. Вам оно так же мало знакомо, как мужчине — муки роженицы. Завтра, может быть, поражения русской армии заставят зашататься царский трон — русские почти всегда выигрывали от царских неудач и проигрывали от царских побед,— и вы требуете от нас, чтобы мы пропустили этот момент, чтобы мы упустили случай, бывающий раз в столетие, и не попробовали вернуть себе независимость и свободу? Да, я знаю, знаю,— ответил он на мое протестующее движение,— вы скажете, что мы из огня попадаем в полымя, что кайзеровское рабство внешним образом культурнее царского, но внутренне опаснее, поскольку подсекает

глубочайшие экономические корни нашего бытия. Но, во-первых, мы еще посмотрим, откуда вы взяли, что нам к концу войны не удастся и от кайзеровского засилья отделаться, как от царского. А во-вторых, пусть выйдет по-вашему. Но разве нет русской поговорки: хоть горше, да по-иному. Так чувствует себя вся русская часть Польши, и мы заодно с ней, мы ее плоть и кровь.

Я заранее решил оставить за Иодко последнее слово и не прерывать его. Но здесь не выдержал и поставил еще один вопрос:

— Если я правильно вас понял, вы принятие вашего плана кампании не ставили в зависимость от того, какое он встретит отношение со стороны нашей партии? Мы стоим перед свершившимся фактом и решение ваше окончательное?

— Да, точно так. Вы не ошиблись. Можно сказать, жребий брошен.

И, пробормотав еще какие-то неловкие и стесненные прощальные слова, мы разошлись... Иодко, во всяком случае, пожелал нашей партии лучших успехов во всех ее начинаниях. Я, по совести, не мог ответить ему тем же и пожелал партии польских социалистов благополучно пережить ждущие ее тяжелые испытания...

Чего-то подобного я уже ожидал и опасался. И все же мне было неизъяснимо тяжело.

* * *

Едва успели кое-как зарубцеваться раны, нанесенные партии черным годом раскрытия центральной провокации, как на нее налетел другой, на этот раз всеевропейский шквал — первая всемирная война. Внутренним разладом, трениями и расколом отозвалась она на социалистических партиях всего мира, но русский кризис по остроте не имел равного.

Когда разразилась война, я встретился с Б. Савинковым и П. Карповичем. Втроем мы подробно обсуждали создавшуюся ситуацию. Всецело поддерживаемый Карповичем, я развивал ту точку зрения, что эта война будет величайшей катастрофой для социализма, для демократии и вообще для всей европейской цивилизации; что она не может быть нашей войной, что она нам — чужая; что просто встать за тех или других из двух воюющих лагерей для нас как социалистов было бы идейным и моральным

ным самоубийством; что мы должны плыть против течения и звать охваченных массовым военным психозом опамятоваться. Я даже пытался анализировать возможные последствия трех исходов войны: 1) вничью — по невозможности довести войну до конца из-за отказа разочаровавшихся в военных иллюзиях масс; 2) победа Антанты и 3) победа блока центральных держав; первый в моих глазах был самым желательным, второй — меньшим злом сравнительно с третьим. Савинков выждал, пока не высказались до конца я и Карпович (который впоследствии мне сообщил разгадку: у Савинкова никакого своего мнения не было). Затем он категорически заявил, что в общем с нами согласен, но ко всем выкладкам о возможных последствиях разных исходов относится скептически: все это гадание на кофейной гуще. Перейдя на рельсы метафизических и религиозно-этических мотивов, знакомых нам по произведениям «Конь бледный» и «То, чего не было», он заявил, что его отношение к войне исчерпывается тем, что сказал бы о ней Толстой: бросьте убивать друг друга, бросьте каждодневно совершать величайшие греховные ужасы, перестаньте быть сумасшедшими и омрачать свою совесть, свое моральное сознание дикими воинствующими выкриками. Только в этом правда, все остальное — ложные умствования, националистические или интернационалистические, равно суетные.

В это время мне, бросившемуся в изучение учебников и монографий по тактике, стратегии и философии войны, а также всего, что к ней относится, было предложено писать о войне в газету «День». Я согласился, ибо война подрезала все источники моего материального существования, и поделился этим заработком с Савинковым: он взял на себя внешнюю сторону военных действий, я — теоретическое освещение (конечно, цензура скоро доказала мне полную утопичность моего предприятия). Савинков стал военным корреспондентом, вошел в круги французского офицерства, и скоро я, к своему крайнему изумлению, стал читать вышедшие из-под его пера бойкие, живые и благонамеренные антанто-патриотические очерки, в которых и следа не было того абсолютного морального неприятия крови, о котором я так недавно от него слышал.

Натансона новый кризис застал врасплох. Когда наконец нам, застигнутым войной в разных странах —

по преимуществу во Франции, Италии и Швейцарии — удалось съехаться на совещание в Лозанне, обнаружилось, что Натансон держится сам по себе, не примыкая всецело ни к одному из двух разошедшихся течений партии. Одних после факта раскола всей европейской цивилизации на два блока, схватившихся в смертельном поединке, более всего волновал паралич, сковавший Социалистический Интернационал, и они первоочередной задачей ставили его восстановление и выработку общесоциалистического плана сокращения периода мировой бойни, замену ее справедливым демократическим миром и международным правовым порядком, исключавшим новые войны. Другие видели в этом полнейшую утопию; они приветствовали то, что война всех нас спустила с облаков на землю, и каждого на его родную землю. Для России это значило во имя патриотизма забыть или, точнее, временно отложить все свои счеты с самодержавием и союзными с ним социальными слоями, поставить главной задачей единство общенационального фронта для совместной с союзниками военной победы, лишь после нее и на ее фоне производить великое внутреннее преобразование России. Натансон считал тогда дело Интернационала проигранным и восстановление его нереальным, но победа царской России окрашивалась для него в самые темные цвета...

Где же выход? Он предлагал такой прогноз как самый вероятный: победа в конце концов будет идти с Запада на Восток, только две половины пути история пройдет в обратном, так сказать, порядке. Сначала Россия будет побеждена союзом центральных империй, а потом германские и союзные с ними армии потерпят поражение от собравшегося с силами Запада. Эта точка зрения была им заимствована у Пилсудского.

То была макиавеллистически задуманная и сулившая непосредственный успех международно-политическая авантюра крупного калибра. Правда, успех ее создавал бы для Польши с двух сторон мощных врагов, едва ли способных забыть новому молодому государству его двойное коварство: немцев и русских. При территориальной же отдаленности Запада едва ли было правильно всецело положиться на его защиту в момент, когда два соседа проникнутся мыслью, что месть сладка и что расплющить Польшу между немецким молотом и русской наковальней — предприятие вполне осуществимое и

ность с противящимися перевороту антибольшевистскими силами. Скрепя сердце я согласился отложить отъезд, но с тем, что это будет последний раз. 22 октября прошло мирно. Создалось впечатление, что большевики будут дожидаться если не Учредительного собрания, то по крайней мере II съезда Советов, на котором они, рассчитывая на сильную левую сецессию в рядах эсеров и меньшевиков, надеются получить большинство.

22-го вечером я покинул Петроград и после успешных выступлений в казармах войск Московского гарнизона поехал на съезд крестьянских секций Западного фронта в Минск, куда меня призывали партийные товарищи, опасавшиеся засилья на этом съезде большевистских и союзных с ними элементов.

Через три дня после моего отъезда началось большевистское восстание.

Когда во второй половине ноября я вернулся в Петроград, я на вокзале был задержан для объяснений с Военно-революционным комитетом. После всех объяснений мне было заявлено, что я свободен и что самый акт приглашения объясниться с Военно-революционным комитетом, несмотря на присутствие вооруженного караула, не должен рассматриваться как арест.

Такова была обстановка, в которой произошел почти единовременно со II Всероссийским съездом крестьянских Советов IV съезд партии социалистов-революционеров (26 ноября — 5 декабря 1917 года по ст. ст.).

Главным предметом съезда было обсуждение вопроса о текущем моменте и тактике партии, докладчиком по которому был я, давший, между прочим, сдержанную по форме, но категорическую по существу критику ошибок революционной демократии вообще и центрального партийного руководства в частности.

Против моих заключений выступали: В. Подвицкий, признавший, что коалиционная тактика действительно потерпела полное крушение, но что это крушение было, в сущности, крушением самой революции; В. Г. Архангельский, полагавший, что все-таки без коалиции обойтись было невозможно и что однородное правительство единого трудового фронта оказалось бы не сильнее, но даже еще слабее коалиционного; Фирсов-Розенблюм, смягчавший значение всех ошибок тактики тем, что течение революции со всеми ее слабостями и спадами было фатально и неизбежно; и, наконец, мой преемник

по министерству земледелия С. Л. Маслов, обвинявший всю революцию в антигосударственном, почти анархическом уклоне, констатировавший, что «революция сорвана», что выхода из тупика нет, все предлагаемые тактические планы безнадежны и неосуществимы.

Что касается крайне правого крыла партии — воленародцев,— то от их имени выступали В. И. Лебедев и А. А. Аргунов. Первый заявил, что, по его мнению, правых вообще от центра теперь отделяет немногое. Центр во главу угла своей тактики ставил борьбу за мир, не отвергая обороны страны, правые — оборону страны, не отвергая борьбы за мир. В других вопросах, на его взгляд, особых разногласий нет. А теперь, когда большевиками армия совершенно разложена, все течения приведены к одному знаменателю, всем приходится думать только об одном — о скорейшем заключении мира. Поэтому правые хотят общей работы, а не распрей и расколов.

После прений были предложены три резолюции: докладчика (левоцентровая), Когана-Бернштейна (крайне левая) и Архангельского (умеренно правая). При голосовании, какую положить в основу обсуждения, за первую высказалось 99 голосов, за вторую — 52 и за третью — всего 8. После рассмотрения в комиссии поступивших поправок моя резолюция была принята 126 голосами против 7 при 13 воздержавшихся. В резолюции этой указывалось, что в Учредительном собрании партия социалистов-революционеров под контролем Центрального комитета должна противопоставить большевистскому методу раздачи невыполнимых обещаний тактику серьезного и глубокого законодательного творчества, чуждающегося оппортунистических компромиссов. В первую очередь при этом должны быть поставлены вопросы о мире, земле, контроле над производством и о переустройстве Российской республики на федеративных началах, и всю социальную политику следует согласовывать с предстоящей демобилизацией промышленности и армии; партия обязана приложить всю свою энергию к сосредоточению для охраны прав Учредительного собрания достаточных организованных сил, чтобы в случае надобности принять бой с преступным посягательством на верховную волю народа, откуда бы оно ни исходило и какими бы лозунгами ни прикрывалось.

Все это прошло, несмотря на то что на IV съезде почти не было прежнего крайне левого крыла, а из партийных левых раскольников, руководимых Натансоном и Спиридоновой, созвавших отдельно всероссийскую конференцию, на общепартийный съезд удалось попасть только И. З. Штейнбергу и В. Трутовскому. Они огласили там резкую резолюцию, приглашавшую «всех подлинных революционеров» уйти со съезда. К ним присоединилось и покинуло съезд, однако, всего 7 делегатов.

Одновременно с общепартийным съездом заседал Всероссийский съезд крестьянских Советов. Он был собран, однако, не Исполнительным комитетом, избранным на предыдущем, I Всероссийском съезде, а некоей самочинной организацией. Исполнительный комитет созвал по вопросу об организации II съезда чрезвычайную конференцию; конференция эта распалась на правых и левых; левые, вставшие на точку зрения признания октябрьского переворота и советской власти, принялись собственными силами, с устранением Исполнительного комитета, собирать съезд. Фактическая сила, имевшаяся у Совета народных комиссаров, была на их стороне. Правым ничего не оставалось, как протестовать и все же идти на находящийся в чужих руках съезд в расчете на то, что крестьяне — народ упорный и переломить себя никому не дадут. Расчет этот оправдался, но не вполне. В нем не была учтена возможность для левого блока (большевиков, левых эсеров, максималистов и анархистов) наводнить съезд делегатами так называемых крестьянских секций фронта, тыловых гарнизонов, флота и т. д. 1 декабря, накануне открытия съезда и при еще неполном его созыве, оказалось, что при 489 приехавших крестьянах-делегатах явились 294 армейских депутата часто с весьма сомнительными полномочиями (вплоть до анекдотического «полномочия» на поездку ради приобретения для окопов граммофона, тоже открывшего предъявителю двери заседаний съезда). Сразу же обнаружилось, что солдатская часть съезда, благодарная большевикам за прекращение войны, валом валит к левому, прокрестьяне в большевистскому сектору, тогда как крестьяне в большинстве питают к большевикам органическое недоверие. Но так как крестьянам со всех концов России съехаться гораздо труднее и они тяжелее на подъем, чем спешащие покинуть фронт солдаты, то на первых заседаниях съезда перевес был у левого блока, хотя и неболь-

шой. При выборах временного президиума кандидатка большевиков и их союзников левая эсерка Спиридонова прошла 269 голосами против 230, поданных за В. М. Чернова; при проверке голосования выходом в разные двери отчетливо сказалось преобладание среди спиридоновцев серых шинелей и такое же преобладание среди черновцев мужицких поддевок. Но мужики продолжали прибывать, и соотношение сил изменилось. Когда на съезд прибыл сам председатель Совета народных комиссаров Ленин, поднялись крики, что съезд еще не решил вопроса, признает ли он Совет народных комиссаров законной властью или нет, а потому выслушать председателя его не может. Не будучи уверен в результате голосования, не желая идти на риск и в то же время сильно надеясь на воздействие ленинской речи, левый блок сделал уступку: Ленин взошел на кафедру и получил слово не как председатель Совнаркома, а как представитель большевистской фракции съезда. Всячески стараясь выставить Совет народных комиссаров истинно народным, демократическим правительством, Ленин неосторожно заявил, что, не в пример безответственному Временному правительству, Совнарком отчитывается перед Советами и если съезд, вроде происходящего, вынесет ему вотум недоверия, он уйдет в отставку. Этим промахом я поспешил воспользоваться и в ответной речи пригласил крестьян принять вызов Ленина и показать ему, много ли доверия имеют они к захватнической власти: фракция социалистов-революционеров пользуется этим случаем, внося соответственную резолюцию против Совета народных комиссаров и за Учредительное собрание. Действительно, депутатом-солдатом тотчас же была внесена от имени эсеровской фракции такая резолюция, и она прошла большинством голосов — 360 против 321. Левая часть съезда пришла в крайнее возбуждение: ее вождя только что поймали на слове, и теперь, если держаться за власть, нужно было отступить от только что данного слова, а если сдержать слово, нужно было отступить от власти. Большевики, разумеется, предпочли первое.

В это самое время в рабоче-солдатском Всероссийском Центральном Исполнительном комитете резолюция, одобряющая действия Совета народных комиссаров, прошла всего лишь 150 голосами против 104 при 22 воздержавшихся. Но во ВЦИКе отсутствовали представители эсеро-меньшевистского блока, демонстративно

удалившегося со II рабоче-солдатского съезда и бойкотировавшего ВЦИК. Если бы не это, Совнарком мог бы получить вотум недоверия разом в обеих палатах советского государства. Теперь же можно было опираться на одну из двух против другой: на рабоче-солдатскую против крестьянской.

Как бы то ни было, но взволнованные неожиданным провалом на крестьянском съезде большевики попробовали на следующий день поправить свои дела, пустив в ход фейерверочное красноречие Л. Троцкого. На их беду, появление Троцкого перед крестьянами совпало с опубликованием в газетах одной речи, где он грозил всем врагам советской власти «изобретенной еще во время Великой французской революции машиной, укорачивающей человека ровно на длину головы». Под свежим впечатлением этой речи, увидев ее автора на трибуне, половина зала внезапно и стихийно разразилась бурей негодования. Троцкий, белый как полотно, покинул трибуну под сплошной гул возгласов: «Насильник, палач, кровавый убийца!» Президиум, не в силах справиться с этим взрывом массового гнева, не нашел другого выхода, как удалиться вместе с Троцким и левой частью съезда в особый зал, где Троцкий и прочел свой доклад. Таким образом, съезд распался на две части; их пробовали потом несколько раз соединять, но они немедленно, иногда по самому незначительному поводу, приводившему к бурным схваткам и хаосу, снова распадались. Между тем крестьяне-делегаты из дальних губерний продолжали приезжать и немедленно присоединяли свои подписи к резолюции в пользу Учредительного собрания и против Совнаркома. Но съезду еще предстояло провести выборы постоянного президиума вместо временного, и перевыборы Спиридоновой становились все более и более проблематичными. Нервозность обеих сторон росла. Наконец по поводу одного из сравнительно малозначительных инцидентов Спиридонова неожиданно заявила, что президиум слагает свои полномочия. Этим единый съезд и был оборван. Около половины делегатов, возглавляемых Спиридоновой, двинулись торжественной процессией прямо в Смольный, где им был оказан президиумом ВЦИКа и Совнаркомом не менее торжественный прием: символически демонстрировалось «рабоче-крестьянско-солдатское единение». Другая, бóльшая часть удалилась в

старое помещение крестьянского ВЦИКа, откуда ее некоторое время спустя выдворили специальным отрядом красногвардейцев. В то же время по всей России прокатилась волна репрессий против крестьянских съездов и Советов, которые не давали большевистским властям прибрать себя к рукам.

ЦК, избранный на IV съезде партии эсеров, избрал линию поведения, равно далекую и от правого активизма, и от правого пессимизма. Вместо заговорщически-террористических действий он посылал людей партии в массы. Зная, что если большевизм захватил власть путем солдатского пронунциаменто, то удерживает ее он все-таки и сочувствием доведенных до точки революционного кипения рабочих, ЦК эсеров главным средством борьбы против большевиков избрал именно обратное отвоевывание массовых рабочих симпатий. Он развивал лихорадочную агитацию за отзыв фабриками и заводами тех своих депутатов в Совете, которые голосовали за дикие и жестокие акты диктатуры. И его агитация имела успех. Все чаще и чаще такие депутаты отзывались и проводились перевыборы депутатов. Дело дошло до того, что большевики стали серьезно опасаться за свое господство в Петроградском Совете. Чтобы остановить таяние своего большинства, они вынуждены были пойти почти на крайнюю меру — на запрет досрочного отзыва и частичных перевыборов — под тем предлогом, что в скором времени они готовят всеобщие и единовременные перевыборы делегатов Петроградского Совета.

Так возникла новая форма движения, история которого еще ждет своего исследователя и бытописателя. Новый эсеровский Центральный комитет пришел к соглашению с социал-демократами-меньшевиками о направлении избирательной кампании в несколько иное русло. Если Петроградский Совет запретил досрочный отзыв и перевыборы своих депутатов, то можно призвать фабрики и заводы избирать представителей на особую чрезвычайную рабочую конференцию, собрание уполномоченных от фабрик и заводов. Таким образом создалось учреждение, фактически параллельное Совету, но имеющее значительно больший моральный авторитет ввиду свежести его полномочий в отличие от устаревших, искусственно сохраняемых и вообще сильно подмоченных полномочий Совета.

Рабочая конференция приковала к себе внимание

всего рабочего Петрограда. Фабрики и заводы один за другим присоединялись к ней и избирали в нее своих представителей. Она превращалась в самый оживленный рабочий парламент. Ей шла на руку тактика большевиков — преподносить Совету готовые партийные решения или даже просто ставить его перед свершившимся фактом, гильотинировать дебаты и в скорострельном порядке получать на все свои действия санкцию задним числом. Рабочая конференция подвергала подробному обсуждению и критике с социалистической точки зрения основания декретов Совета народных комиссаров и в противовес им разрабатывала позитивную программу социальных реформ, свободную от необузданного экспериментаторства и утопизма. Обсуждала она и международную политику большевистской диктатуры с ее попыткой «выскочить» из войны путем сепаратного мира, который, согласно ее уверениям, должен, однако, оказаться миром вполне демократическим, справедливым и потому равно почетным для обеих сторон. Свою программу рабочая конференция предполагала передать в качестве петиции Учредительному собранию, права которого на полноту власти она отстаивала безоговорочно.

Глава двадцать вторая

Учредительное собрание.— Заговор против народной воли.— Страшная ночь

7 октября 1917 года большевистская фракция предпарламента демонстративно вышла из него в полном составе в знак возмущения и протеста. В отсутствие перешедшего на нелегальное положение Ленина ее возглавлял Троцкий. В оглашенной декларации большевики шумно возвещали стране: «Буржуазные классы, направляющие политику Временного правительства, поставили себе целью сорвать Учредительное собрание!»

Декларация Троцкого — Ленина при помощи их партийной прессы, авторитетных деклараций их Центрального комитета и страстных речей бесчисленных ораторов-демагогов облетела всю страну. Полтора месяца с завидным постоянством и гипнотической силой фанатически-исступленного упорства в головы масс вбивалось страшное подозрение: народ и страна обмануты, Учредительному собранию уготованы Временным правительством похороны по первому разряду.

Удачно придуманный маневр сослужил свою службу. Власть оказалась в руках большевистской верхушки, диктаторски распоряжавшейся своей партией, но за это обучавшей ее столь же диктаторски распоряжаться всей Россией. Как же, однако, быть с требованием «немедленного созыва Учредительного собрания»?

Протоколы ЦК большевиков того времени долго — десятилетия — хранились в тайне. Они были преданы гласности Госиздатом лишь в 1929 году. Лишь из них мы официально узнали, с чего начал Ленин подкоп под Учредительное собрание; узнали и его знаменитую фразу: «Ждать Учредительного собрания, которое явно будет

не с нами,— бессмысленно, ибо это значит усложнять нашу задачу!»

В воспоминаниях Л. Троцкого о той эпохе («Правда» от 9 апреля 1924 года) читаем:

«В первые же дни, если не часы, после переворота Ленин поставил вопрос об Учредительном собрании. «Надо отсрочить,— предложил он.— Надо отсрочить выборы. Надо расширить избирательные права, дав их восемнадцатилетним. Надо дать возможность обновить избирательные списки: наши собственные списки никуда не годятся...» Ему возражали: неудобно сейчас отсрочивать, это будет понято как ликвидация Учредительного собрания, тем более что мы сами обвиняли Временное правительство в оттягивании Учредительного собрания. Ленин со своей позицией остался одиноким. Он недовольно поматывал головой и повторял: «Ошибка, явная ошибка, которая нам может дорого обойтись».

Отсрочивать выборы, производство которых уже шло и первые результаты которых уже публиковались, было поздно.

Комиссаром комиссии по выборам в Учредительное собрание был назначен известный большевистский центровик Урицкий. Он делал ЦК специальный доклад по поводу поражения большевистского списка среди сугубо пролетарского Уральского района. Доклад этот — конечно, секретный — цитируется в Собрании сочинений Л. Д. Троцкого, т. 3, часть 2, с. 364—365:

«Урал не оправдал наших ожиданий. В местах, отдаленных от центров революционной работы, Учредительное собрание пользуется большой популярностью. Этим именем заставляют нас держаться выжидательной тактики... Созовем ли мы Учредительное собрание? — Да, созовем.— Разгоним? — Да, может быть; все зависит от обстоятельств».

Назначение комендантом Таврического дворца человека, чей доклад был отличной иллюстрацией его чувств к «хозяину земли русской — Учредительному собранию» (как его в то время все еще пышно именовали в прокламациях ЦК его партии), уже само по себе было символично.

С этим «хозяином», ради которого на словах и совершали весь переворот и захват власти, на деле же сговаривались секретно поступить «в зависимости от обстоятельств» так или иначе, но с одинаковым конечным результатом.

«Выяснилось тем временем, что мы будем в меньшинстве даже с левыми эсерами...» «Надо, конечно, разогнать Учредительное собрание,— говорил Ленин,— но вот как насчет левых эсеров? Нас, однако, очень утешил старик Натансон. Он зашел к нам «посоветоваться» и с первых же слов сказал: «А ведь придется, пожалуй, разогнать Учредительное собрание силой».— «Браво! — воскликнул Ленин.— А пойдут ли на это ваши?» — «У нас некоторые колеблются, но я думаю, что в конце концов согласятся,— ответил Натансон» («Правда», № 91, 20 апреля 1924 года).

В те времена пишущему эти строки не раз приходилось вызывать левых эсеров и Натансона лично на публичное объяснение.

— Вы сбрасываете с себя узы партийной солидарности и дисциплины, вы взрываете партию изнутри,— говорил я им,— помните же: образовав отдельную партию, вы не сохраните и ее единства, вы и ее взорвете изнутри. Вы помогаете большевикам диктаторски расправляться с другими партиями; придет и ваша очередь, большевистский террор обрушится и на вас. Когда-нибудь вы опомнитесь, но будет слишком поздно. Дело, которое вы начинаете, история назовет вашим политическим самоубийством...

Натансон такого публичного объяснения не принял ни разу. Но для большевиков вопрос уже был предрешен. Оставалось закончить кое-какие формальности.

26 декабря Ленин опубликовал свои «Тезисы об Учредительном собрании». В них народные избранники предупреждались, что «Учредительное собрание, если бы оно разошлось с Советской властью, было бы неминуемо осуждено на политическую смерть», и «единственным шансом на безболезненное разрешение кризиса» объявлялась полная капитуляция и «безоговорочное заявление Учредительного собрания о признании Советской власти, советской революции, ее политики в вопросе о мире, о земле и рабочем контроле» и т. д. Иными словами, все проблемы, для решения которых Учредительное собрание собиралось, уже решены до Учредительного собрания и без Учредительного собрания.

И вот пришла пора открывать его. Для того чтобы

быть готовым ко всем возможным неожиданностям в этой последней встрече с побежденными, но не покорившимися противниками, Ленин облек чрезвычайными полномочиями лично преданного ему В. Бонч-Бруевича. Пробольшевистская, но позволявшая себе некоторую фронду «Новая жизнь» Максима Горького в те дни сообщала, что «во все комиссариаты были вытребованы усиленные наряды красноармейцев. Везде установлены ночные дежурства. До пяти утра в Смольном и комиссариатах не смыкали глаз», а членам мирных делегаций Германии, Австрии, Болгарии и Турции Совнарком еще ранее предложил перебраться на 5 января в какие-нибудь «более безопасные помещения».

Ко дню открытия Учредительного собрания готовились обе стороны. Ленин, отличный практик-стратег, не смущался тем, что и под ливнем самых соблазнительных декретов страна устояла и ответила ему вотумом недоверия, послав в Учредительное собрание абсолютное большинство социалистов-революционеров. Из удачного октябрьского опыта он знал, что всего существеннее иметь большинство в решающий момент на решающем участке войны. И, подтянув для верности в Петроград еще своих надежных латышей, он составлял диспозицию уличного столкновения. Мы знали, что большевики в Питере — полные господа положения, но не теряли надежды. На фабриках и заводах шел процесс отрезвления и разочарования в Совнаркоме. Мы могли рассчитывать на многочисленные колонны демонстрантов из всех рабочих районов к Таврическому дворцу для приветствия Учредительного собрания. Если их пустят, мы будем защищены живой стеной от всякой попытки разгона. Если не пустят, если будут разгонять вооруженной силой, если прольется кровь безоружных — потерпят ли это самые крепкие революционные воинские части, первыми выступившие против царя в феврале? Преображенцы и семеновцы приняли резолюции в пользу Учредительного собрания. Они не хотели верить в возможность его разгрома — ведь большевики в оправдание Октябрьского переворота говорили, что без него буржуазия сорвала бы созыв Учредительного собрания. Но на случай насильственных мер против народных избранников они соглашались пойти на его защиту, особенно если будут поддержаны броневым дивизионом, тоже неоднократно высказывавшимся за Учредительное собра-

ние. Эту верность свою броневой дивизион собирался продемонстрировать в день его открытия. Первым этапом его маршрута намечались казармы Преображенского и Семеновского полков: они должны были подойти к Таврическому дворцу с одной стороны,— с других сторон предполагались невооруженные рабочие демонстрации.

Мы знали, что физическая сила в Петрограде на стороне большевиков, но результат выборов показал, что страна за нами. Мы не хотели в Петрограде ни в коем случае подавать повода к вооруженному столкновению. Надо было морально обезоружить хотя бы часть большевиков. Для этого мы пропагандировали демонстрацию гражданского населения абсолютно безоружную, против которой было бы нелегко употребить грубую силу. Все, на наш взгляд, зависело от того, чтобы не дать большевикам и тени морального оправдания для перехода к кровопролитию. Только в этом случае, думали мы, могут поколебаться даже самые решительные их защитники и проникнуться решительностью самые нерешительные наши друзья...

День открытия Учредительного собрания был назначен еще Временным правительством. День открытия Учредительного собрания должен был разрешить судьбу его. Вынести всю тяжесть на своих плечах предстояло нашей партии, за которую на выборах высказалось абсолютное большинство народа. Именно ее депутатам приходилось, чем бы это для них ни кончилось, пытаться быть полновластным Учредительным собранием. Но в обеих столицах приказам овладевшей властью диктаторствующей партии беспрекословно подчинялось громадное большинство тыловых гарнизонов, а по численности голосовавших на выборах она вышла на первое место. Физическая сила была не за нас. Открыв для нас двери Таврического дворца, власть имела возможность превратить его в простую мышеловку. Никаких иллюзий на этот счет у нас не было. Петербург не с нами. Но с нами страна. За большевиков высказалось не более четверти избирателей — свыше 9 миллионов голосов из общего числа поданных 36 с четвертью миллионов голосов, тогда как за партию социалистов-революционеров — 21 миллион, то есть 58 %.

И вот 5 января, собравшись неподалеку от Таврического дворца, мы идем туда к назначенному полуден-

ному часу основной массой приблизительно человек в 200. Литейный проспект пустынен. Но дворы по обеим сторонам живут своей настороженной боевой жизнью. Время от времени оттуда как из-под земли вырастают вооруженные патрули; раздаются вызывающие возгласы: «Кто идет?» «Учредителей» все же мрачно пропускают. Подходим к Таврическому дворцу. Площадка перед самым дворцом загромождена легкими орудиями, пулеметами и боеприпасами — для наступательных действий или для выдерживания осады? Свободен один узкий боковой вход, туда впускают по одному, после проверки билетов некоторым задается вопрос, нет ли с собой оружия.

Зато внутри, в вестибюле и коридорах, всюду вооруженная стража. Картина настоящего военного лагеря. Но это не военный лагерь дисциплинированной армии, готовящейся к бою. Это — оккупанты, грубые и развязные. Пока еще ни к кому прямо не обращаясь и обмениваясь впечатлениями между собой, они бросают в пространство фразы: «Вот того хорошо бы в бок штыком», «А этому пули не избежать» и «По тому вон пуля плачет». У нас заранее твердое решение: ни в какие пререкания со стражей не вступать.

Входим в большой зал заседаний. Он пуст. Нет ни одного большевика и никого из их левоэсеровских союзников. Те и другие уединились в своих фракционных комнатах. К общему заседанию они еще не готовы. Фактически они действуют как единый блок. Но договорные условия еще далеко не выработаны. В полдень должно было состояться открытие Собрания, но большевики и их союзники все еще продолжают совещаться. После полудня проходит час — не готовы. Истекает второй час — то же самое. Идет третий, четвертый... Начать без них? Рискуем не набрать кворума. От дальнейшего хода торгов и переторжек мы не ждем ничего. Единственное, чего еще раньше левым эсерам удалось достичь,— это разрешения Учредительному собранию открыться. Но Совет народных комиссаров своих правомочий ему не передает. Разыграется поединок двух независимых держав: одной — опирающейся на штыки, пулеметы и орудия, другой — опирающейся на право говорить от имени многомиллионного русского народа. Если невооруженная держава не капитулирует сама перед вооруженной, спор будет решен силой.

Большевики вместе с их спутниками чего-то еще ждут. Чего? Известий извне. Между двухфракционным блоком и столичной «улицей» идет нервный обмен гонцами. Параллельно такой же напряженный обмен идет и у нас. Наши вести благоприятных перспектив не открывают.

Расположенный в Петербурге броневой дивизион сохранял верность Учредительному собранию. Эту верность свою он собирался продемонстрировать в день его открытия. Первым этапом его маршрута намечались казармы Преображенского и Семеновского полков. На их митингах неизменно проходила резолюция: «Вся власть Учредительному собранию!» Эта возможность какой-то консолидации сил, сочувствующих установлению подлинного народовластия, казалось, открыла бы Учредительному собранию перспективы; во всяком случае, «разгонные» настроения большевиков могли бы, пожалуй, быть серьезно сдержаны. Однако самые последние вести ни к каким иллюзиям не располагали. Большевики оказались хорошо подготовленными ко всем случайностям. В ночь перед открытием Учредительного собрания организованные большевиками рабочие ремонтных мастерских сделали порученное им дело. Путем умелого «технического саботажа» броневые машины были превращены в неподвижные, точно параличом разбитые груды железа.

Удручающие вести приходили с маршрутов движения из разных частей города. Всюду колонны демонстрантов наталкивались на вооруженные заставы и засады. Безоружность толпы только придает духу верным стражам советской власти. Если толпа не дает себя сразу разогнать, в нее стреляют из винтовок, стреляют из пулеметов...

Были случаи: толпа, обстреливаемая из пулеметов, ложится на землю, переждав таканье пулеметов, после чьего-нибудь призывного возгласа вновь подымается, бросается вперед и снова ложится, и опять встает, оставляя на месте раненых и убитых. И еще вести, все мрачнее и мрачнее: при разгоне одной колонны — со Шлиссельбургского тракта — полегло много обуховских рабочих. В другом месте среди убитых — известная нам всем эсерка Горбачевская, дочь революционера и внучка декабриста. В третьем — запоздавший на открытие Учредительного собрания и пришедший вместе с демон-

страстями крестьянин-депутат. По всем больницам и по многим частным домам разнесены раненые. Ни одна из колонн демонстрантов не может пробраться к Учредительному собранию.

И последняя весть: в казармах преображенцев и семеновцев настроение мрачное и подавленное. Там ждали прихода броневиков и готовы были вместе с ними пойти к Таврическому дворцу, рассчитывая, что при таких условиях большевики отступили бы без кровопролития. Броневики не пришли. Настроение упало.

Нам ясно: судьба Учредительного собрания решена. Мы отрезаны от тех, кто нас послал. Мы — пленники в осажденной крепости.

Один из членов Учредительного собрания — эсер Лисенко описал это единственное заседание Учредительного собрания довольно подробно в брошюре под названием «Страшная ночь». Я рекомендую всем, кто может где-нибудь в библиотеке найти эту брошюру, прочитать ее. К сожалению, мой экземпляр пропал вместе со всей моей библиотекой, которая была захвачена немцами.

Да, это была воистину страшная ночь. Эта страшная ночь, я понял тогда, решила судьбу России на долгие-долгие годы. Теперь мне все яснее становится, что эта страшная ночь решила судьбу не только России, но и Европы, и всего мира.

И вот наконец сообщение двух фракций — большевистской и левоэсеровской. Они готовы к открытию заседания. Они готовы, и все «готово».

Зал заполняется народом. По бокам трибуны — вооруженные. В коридорах — вооруженные. Галереи для публики набиты битком. И там над головами то здесь, то там дула винтовок. Билеты на галереи распределял Урицкий. И распределил.

В книге своей «На боевых постах Февральской и Октябрьской революций» В. Бонч-Бруевич описывает, как он обеспечивал власть и порядок в Таврическом дворце с помощью особо подобранной команды с крейсера «Аврора» и двух рот с броненосца «Республика» и как другой его товарищ по оружию, Дыбенко, расположил на ключевой позиции — на углу Литейного проспекта — опять-таки какой-то специальный отряд Ховрина в 500 человек с ручательством, что мимо него никакие демонстранты к Таврическому не проникнут, как всем собранным в три часа ночи отдельным начальникам отрядов вручались в запечатанном конверте специальные задания. Из воспоминаний Троцкого, написанных по свежим следам событий («Правда», 20 апреля 1924 года), мы впервые узнали, как сам Ленин боялся, что обычные воинские части, крестьянские по составу, окажутся ненадежными, ибо в случае чего русский мужик может «колебнуться», как он распорядился о доставке в Петроград одного из латышских полков, «наиболее рабочего по составу».

Когда наступил наконец момент открытия Учредительного собрания, Ленин, по свидетельству верного Бонч-Бруевича, волновался и был мертвенно бледен, как никогда, сжал судорожно руку и стал обводить пылающими, сделавшимися громадными глазами всю залу. Вскоре, однако, он оправился и «просто полулежал на ступеньках то со скучающим видом, то весело смеясь».

Депутаты медленно размещаются по своим скамьям. Стороны обводят друг друга напряженными взглядами.

Наконец все в сборе. Минуты томительного ожидания. Левый сектор ждет. Старейший депутат среди нас — старый народоволец С. П. Швецов. Ему и следует открыть заседание.

Внушительного вида С. П. Швецов подымается на трибуну. И разом, по сигналу, раздается ужасающая какофония. Топанье ногами, стук пюпитров, крики, кошачий концерт. Левоэсеровский сектор соревнуется с большевиками. Присоединяются хоры. Стучит прикладами об пол стража. Швецов берет колокольчик. Видно, как он мотается в руке. Но звука не слышно. Он кладет колокольчик на стол, им немедленно завладевает кто-то и уносит, чтобы вручить в виде трофея входящему в зал Свердлову. Пользуясь минутным затишьем, Швецов успевает произнести сакраментальную фразу: «Заседание Учредительного собрания открывается». Новый взрыв оглушительного гама. Швецов покидает трибуну и возвращается к нам. Его место занимает Свердлов, чтобы второй раз открыть собрание именем Совнаркома и ультимативно предложить нам его платформу. От нас требуется сказать просто: да или нет.

Но ультиматум пока висит в воздухе. Надо организовать президиум. Наше предложение — пока выбрать лишь председателя Учредительного собрания и секретаря, организацию коллегиального президиума отложить на

завтра. Это предупредительная мера — чтобы своим уходом с заседания большевики и их союзники не «сорвали» президиума. За наше предложение — большинство. Начинаются выборы. Большевики своего кандидата не выставляют. Они будут голосовать за кандидата левых эсеров Спиридонову. Ту самую Спиридонову, которую они потом арестуют и будут мытарить по тюрьмам и ссылкам, выматывая из нее последние остатки здоровья и жизни, доведя до грани душевной болезни. Они делают теперь ставку на имя, на террористическое прошлое, на мученическую судьбу женщины. Они надеются оторвать от нас и от нейтральных отдельные голоса. Их расчеты не оправдываются. На моем имени, выставленном нашей фракцией, объединяется внушительное большинство — гораздо больше того, что нами ожидалось. Видимо, кое-какие из левых эсеров-крестьян не удержались и голосовали с нами. Я получил 244 избирательных голоса против 151 неизбирательного.

Моя вступительная речь. Приходится призвать на помощь все свое самообладание. Кто прочтет стенографический отчет об этом заседании, не будет иметь даже отдаленного впечатления о том, что происходило на самом деле. После каждой фразы — десятки вскриков, то иронических, то озлобленных, подкрепляемых угрожающим поигрыванием винтовками со стороны сгрудившейся, как на митинге, массы. Нельзя поддаваться на провокацию. Надо помнить: одержит верх тот, чьи нервы крепче. И я, не обращая внимания на крикунов, веду свою линию:

— Страна высказалась. Состав Учредительного собрания — живое свидетельство мощной тяги народов России к социализму. Оно означает конец неопределенного, колеблющегося переходного периода. Вопрос о земле предрешен: она станет общим достоянием, на равных правах открытым для всех трудящихся и желающих трудиться. Учредительное собрание — это начало активной внешней политики, направленной к миру — не шкурнически-сепаратному, а всеобщему, демократическому миру без победителей и побежденных. Наша страна стала цитаделью освобождающей революции, и в ней по призыву революционного правительства должен состояться съезд воскресшего Интернационала, который будет съездом умиротворения народов. Советы как орган общественного контроля должны быть не соперниками, а союзниками и сотрудниками Учредительного собрания; всякая иная линия поведения грозит ужасами гражданской войны, разорения и одичания.

Учредительное собрание должно иметь полноту власти. Но оно не желает узурпировать народную волю. Оно готово все свои основные решения передать на проверочное всеобщее голосование народа, на плебисцит. При таких условиях всякий, кто против него, стремится к захвату власти, к деспотической опеке над народом.

Под перекрестный огонь выкриков, звяканья винтовок и угрозы я довожу речь до конца. Теперь черед большевистских ораторов Скворцова и Бухарина. Во время их речей наш сектор — образец сдержанности и самодисциплины. Большевистские ораторы резки, митингово-крикливы, вызывающи по тону, подчеркнуто грубы в выражениях, но ледяной сдержанности эсеровского большинства никакая провокация сломить не в силах.

Большевикам отвечает И. Г. Церетели, которого тоже с самого начала пробуют «пугать», наводя на него винтовку. Мне надо заставить крикунов замолчать и слушать. Как это сделать? Призывы к сохранению достоинства Учредительного собрания вызывают только еще более ожесточенный гул, порой переходящий в неистовый вой. Дыбенко и подобные ему демагоги, совершенно распоясавшись, подают сигналы к новым и новым атакам. Ленин в правительственной ложе демонстрирует свое презрение к «учредилке», разлегшись во всю длину и принимая вид уснувшего от скуки человека. Я дохожу до того, что угрожаю «очистить от публики» неистовствующие хоры. Несмотря на нелепость угрозы — ибо стража ждет лишь сигнала, чтобы очистить зал от нас,— она на время действует. Спокойный и достойный тон Церетели довершает остальное. Он может довести свою речь до конца. После него легче сделать то же эсеру Тимофееву, говорящему о мире, и Скобелеву, требующему расследования убийств и наказания виновников кровавой расправы над мирными демонстрантами, шедшими приветствовать Учредительное собрание. Стоит упомянуть об особенном взрыве криков, когда пробует говорить по-украински и пытается занять квазинейтральную позицию депутат Северцов-Одоевский. Большевики в Учредительном собрании не желают слышать иной речи, кроме русской. Я вынужден самым категорическим образом заявить, что в новой России не может быть народа, ли-

шенного права говорить о своих нуждах, где ему угодно, на своем родном языке.

Наш план установлен заранее. По трем вопросам: о войне и мире, о земле и о форме правления — мы должны сказать полным голосом свое слово. Это наше знамя, поднятое со всенародной трибуны перед лицом своей страны, если угодно, политическое завещание обреченного на смерть Учредительного собрания. Большевикам этот план необходимо сорвать. Они требуют, чтобы мы или целиком отвергли, или целиком приняли программу Совнаркома. После споров мы, обходя эту программу, переходим к рассмотрению главных вопросов: о мире, о земле, о государственном устройстве... Тогда большевики демонстративно уходят, чтобы потом снова нарушить ход наших занятий оглашением декларации. Они объявляют нас контрреволюционерами.

Левые эсеры в тяжком положении. Мы еще не успели высказаться ни по одному вопросу. Левоэсеровские мужики бунтуют: им приказано от Учредительного собрания получить трудовое мужицкое право на землю, всю землю. Вот почему левоэсеровские мужики бунтовали. В их рядах дезорганизация, пререкания. Один левый эсер вдруг выхватывает револьвер и угрожает другому. Сотоварищи едва успевают его обезоружить и предотвратить трагедию. А в двери со штыками наперевес уже вбегает толпа матросов — они думают, что дан сигнал «начинать». Их едва успевают удержать и объяснить недоразумение. Иначе они «начали» бы с левых эсеров...

Но вот и левые эсеры принимают свое решение. Перед самым переходом к вопросу о земле они посылают на трибуну И. З. Штейнберга с декларацией о несолидарности их с нами и об уходе из Учредительного собрания. Он тщетно пытается «цветами красноречия» прикрыть капитуляцию перед большевиками.

Так с бесчисленными перерывами мы добираемся до вопросов о земле и форме правления. Уже брезжит в окно предчувствием рассвета горизонт неба. Мы остаемся одни, лицом к лицу с вооруженным скопищем людей, не понимающих, чего еще их заставляют ждать.

Мы знаем: большевики совещаются, решают нашу участь. Совещаются и левые эсеры. Но нам нужно договорить свое последнее слово. Я заявляю о переходе к следующему пункту порядка дня: о земле. В это время кто-то сбоку трогает меня за рукав:

— ...Так что надо кончать — есть такое распоряжение народного комиссара.

Я оглядываюсь: бритый матрос, за ним — его товарищи.

— Какого народного комиссара?

— Распоряжение. Словом, тут оставаться больше нельзя. Караул устал. И сейчас будет потушено электричество.

— Члены Учредительного собрания тоже устали, но не могут отдыхать, пока не выполнили возложенного на них народом поручения: решить вопрос о мире, земле и государственном устройстве.

И, не давая страже времени опомниться, я перехожу к оглашению главных пунктов «основного закона о земле». О докладах, о длинных речах, о дебатах больше нечего и думать: с кем дебатировать? Мы остались одни. Нужны не разглагольствования, а решения. По моему предложению Учредительное собрание голосует. Шесть основных пунктов давно выработанной нашей фракцией новой земельной конституции приняты. Все земельные угодья государства обращены безвозмездно во всенародное достояние на началах равенства общегражданских прав в деле их трудового использования...

Под аккомпанемент продолжительных криков «Пора кончать! Довольно! Очистить здание! Сейчас гасим электричество!» решается судьба остальных пунктов законопроекта о земле, детализирующих применение общих принципов в разных сферах землевладения и землепользования. Их разработка поручена комиссии из представителей всех фракций, на партийной основе.

На случай, если погаснет электричество, спешим запастись свечами. Кому-то удается, несмотря на ночь, раздобыть их немного. Еще надо успеть во что бы то ни стало решить вопрос о форме правления, иначе большевики завтра же не постесняются объявить, что «учредиловцы» оставили открытой дверь для возврата монархии. Удается благополучно справиться и с этим вопросом. Провозглашена федеративная связь отдельных народов демократической республики с сохранением за ними их национального суверенитета.

Все это под аккомпанемент вызывающих восклицаний вооруженной стражи, у которой чешутся руки. По заранее принятому решению наша фракция не поддается

ни на какие провокации и не входит ни в какие пререкания. Молчать и довести до конца свое дело.

Из окон глядит туманное, сумрачное утро. Я объявляю перерыв заседания до 12 часов дня.

Перед выходом ко мне протискивается какой-то бледный, уже немолодой человек. Прерывистым голосом он умоляет меня не вздумать пользоваться моим автомобилем. Там меня поджидает кучка убийц. Он, сообщающий это, сам большевик, член партии. Но его совесть не мирится с этим...

Я с несколькими окружившими меня товарищами выхожу из двери. В сторонке, где ожидает мой автомобиль, толпятся неподалеку от него люди в матросской форме. Наше пешее передвижение надежнее автомобильного, и мы направляемся в другую сторону, мимо. Когда я пришел домой, это был сюрприз. Город уже был полон вестью, что с Учредительным собранием кончено, а Чернов и Церетели убиты.

В 12 часов дня посланные на разведку члены Учредительного собрания приносят весть, что двери Таврического дворца запечатаны и охраняются стражей с пулеметами и двумя полевыми орудиями. Позднее появляется декрет Совнаркома о нашем «упразднении». Вышедшие номера газет с отчетами о заседании Учредительного собрания отбираются представителями власти, рвутся в клочки, сжигаются на площадях и углах улиц...

Через несколько дней петербургский пролетариат небывалой по грандиозности демонстрацией проводил убитых рабочих на то же кладбище, где покоились жертвы расстрела рабочего шествия к царю 1905 года. Тот расстрел происходил в памятный день 9 января. И тот же день, день 13-й годовщины царской кровавой бойни, символически выбран был петербургским пролетариатом для погребения жертв первого большевистского расстрела рабочих. Какая полная глубокого смысла политическая символика!..

Глава двадцать третья

После разгона Учредительного собрания.— Восстание на Волге.— Чехословацкий легион.— Фронт Учредительного собрания.— Уфимское совещание и образование Директории.— Переезд Директории в Омск и переворот адмирала Колчака.— Второй разгон Учредительного собрания

Когда после затянувшегося на всю ночь до утра первого заседания Учредительного собрания Совет народных комиссаров объявил о его роспуске и здание Таврического дворца было занято вооруженной силой с пулеметами и легкой артиллерией, в эсеровской фракции Учредительного собрания не оказалось должного единодушия. Группа членов Учредительного собрания, включая и автора этих строк, предлагала воспользоваться переданным через члена партии А. Высоцкого приглашением рабочих огромного Семянниковского завода перенести дальнейшие заседания Учредительного собрания в его стены, демонстративно заявив, что Учредительное собрание не признает за Совнаркомом право роспуска и отдает себя под защиту пролетарского Петрограда. Предложение это, однако, было отвергнуто. Одни из его противников указывали на то, что в Неву из Кронштадта введена и поставлена вблизи этого завода канонерская лодка и перенесение Учредительного собрания на Семянниковский завод кончится лишь его обстрелом и большим числом бесполезных жертв, а Учредительное собрание не вправе подводить рабочих под расстрел, если у него нет средств их защиты. Другие находили, что если даже большевики и не решатся на бомбардировку завода, то положение в его стенах Учредительного собрания, за решениями которого нет силы, способной проводить их в жизнь, окажется бесславным, Учредительное собрание окажется простой говорильней. Большевики будут его игнорировать и, сохраняя свою власть в городе, не допустят даже никаких газетных отчетов о незаконных

заседаниях распущенного собрания, и ему придется волей-неволей угаснуть в такой лишенной всякого резонанса атмосфере, что после этого оно уже не воскреснет.

Эти аргументы не убедили вносивших предложение, но подействовали на большинство. Мысль о заседании в стенах большого завода была отвергнута. А между тем настроение рабочих кварталов было для него действительно на редкость благоприятно. Это было доказано состоявшейся 9 января грандиозной процессией при похоронах жертв большевистских расстрелов в день открытия Учредительного собрания. Она превратилась в массовую демонстрацию гигантских размеров, напоминавшую о первых демонстрациях «медового месяца» Февральской революции. Перед несчетным числом участников траурного шествия не устояли даже большевистские отряды, поначалу как будто готовые продолжить дело своих предшественников. Этот благоприятный момент был упущен.

Результатом всего происшедшего было то, что ЦК партии социалистов-революционеров вынужден был вскоре эвакуироваться в Москву. Но так как большевистский угар в Москве был не меньше, чем в Петрограде, а отрезвление от него шло даже еще медленнее, то во фракции Учредительного собрания вскоре стало пользоваться почти всеобщим признанием убеждение, что в столицах дело Учредительного собрания пока нужно считать проигранным; остается искать где-то еще на территории России место, которое бы пригласило Учредительное собрание к себе и оказало ему защиту. Одно такое приглашение, однако, пришлось отвергнуть: то было предложение Донского казачьего круга с Калединым во главе. Керенский также в свое время вел очень серьезные переговоры с казачьими кругами, но должен был их порвать. Несколько позднее стало известно, что верхи казачества преследовали при этом свои тайные цели и планы, рассчитывая воспользоваться Керенским как демократическим прикрытием. Была перехвачена и опубликована часть ленты переговоров по прямому проводу людей Петроградского всеказачьего центрального совета с фронтовыми представителями казачества; этим последним рекомендовалось из казачьего центра быть с Керенским осторожнее, но воспользоваться им как «наживкой для ловли известного рода рыбы». Не иную цель имели руководящие казачьи круги, предлагая свое

гостеприимство на Дону и Учредительному собранию. Пойти на такую двусмысленную роль члены Учредительного собрания, разумеется, не могли. Центральный комитет партии социалистов-революционеров отправил эмиссаров на Украину, чтобы решить, не следует ли переехать на ее территорию, вступив в боевой союз с представителями украинского федерализма. Однако оказалось, что Украина стоит на пороге германской оккупации, что при резком конфликте с московским большевизмом она ищет выхода в сепаратном мире с центральными империями, в отдельном сговоре с ними, в ориентации на вооруженную германскую помощь против большевиков. При таких условиях сговор с украинскими самостийниками оказывался для Учредительного собрания невозможным. Последовательно отвергнув столицы, Дон и Украину как исходные пункты борьбы за Учредительное собрание, приходилось обратить свои взоры на Север и Восток.

Так естественно и стала складываться идея о переселении Учредительного собрания в Урало-Волжский район. Дальнейшие события только укрепили эту новую ориентацию. Кризис переговоров Совнаркома с немцами, попытка задержаться на переходном положении «ни мир, ни война», германское наступление на Петроград, капитуляция Совнаркома, постыдный мир, распад коалиционного Совнаркома и выход из него левых эсеров, разлад в рядах самой большевистской партии — все эти события укрепляли в эсеровских рядах непримиримую оппозицию большевистской диктатуре и готовность при первой возможности поднять против нее знамя восстания. Но, рассматривая Совнарком после Брестского мира и водворения в Москве графа Мирбаха почти как немецкую диверсию, защитники Учредительного собрания предполагали, что рано или поздно восстание против большевиков натолкнется на вооруженные немецкие силы и поведет к восстановлению Восточного фронта мировой войны. А рассматривая эту проблему с чисто стратегической точки зрения, приходилось считаться с возможностью распространения немецкой оккупации на Центральную Россию, что делало естественной операционной базой против них Поволжье. То же самое Поволжье предуказывалось партии социалистов-революционеров и тем обстоятельством, что с Поволжья началась и в Поволжье с давних пор пользовалась наи-

ОГЛАВЛЕНИЕ

Наследие В. М. Чернова
(С. Сергеев)
3

Глава первая
Волга, Волга, мать родная.— Детство.— Семья.— «Двухпалатная система»
18

Глава вторая
Саратовская гимназия.— Первые кружки.— Толстовство и антитолстовство.— В. А. Балмашев.— М. А. Натансон
35

Глава третья
В Дерпте.— Последние гимназические впечатления.— Опять Саратов: холерные беспорядки.— В Московском университете.— Союзный совет.— Споры народников с марксистами.— Н. К. Михайловский.— П. Н. Милюков.— Новое народовольчество.— Организационные планы М. А. Натансона
51

Глава четвертая
Арест.— Зубатов.— Отправка в Петербург.— В Петропавловской крепости.— Освобождение.— Родной Камышин
77

Глава пятая
В Тамбове.— Земцы.— Старые революционеры.— Работа среди крестьян.— Последняя встреча с Н. К. Михайловским.— Отъезд за границу
91

Глава шестая
За границей.— Цюрих: первое знакомство с П. Б. Аксельродом и Г. В. Плехановым.— Закат народовольчества.— Социал-демократы, либералы и народники.— Х. О. Житловский и его «Союз русских социалистов-революционеров».— С. А. Ан-ский.
100

Глава седьмая
В Париже.— И. А. Рубанович и Мария Ошанина.— У постели умирающего Лаврова.— Аграрно-социалистическая лига.— Л. Э. Шишко.— Ф. В. Волховской.— Е. Е. Лазарев
116

Глава восьмая
Григорий Гершуни.— Екатерина Брешковская.— Гершуни и Зубатов.— Рабочая партия политического освобождения России.— Образование партии социалистов-революционеров
126

Глава девятая
М. Р. Гоц.— Беседа молодого Гоца с молодым Зубатовым.— Мое первое знакомство с Гоцем.— Гоц — душа заграничной организации партии социалистов-революционеров.— Арест Гоца и требование русского правительства о его выдаче.— Кампания в пользу его освобождения.— О. С. Минор.— Деятельность Аграрно-социалистической лиги.— Н. С. Русанов и «Вестник русской революции»
139

Глава десятая
Боевая организация.— Убийство министра Сипягина и другие террористические акты.— Казнь Степана Балмашева.— Арест Гершуни.— Суд над ним и заключение его в Шлиссельбургскую крепость
158

Глава одиннадцатая
Азеф во главе боевой организации.— Убийство Плеве.— Егор Сазонов, Борис Савинков и Иван Каляев
170

Глава двенадцатая
Моя поездка в Германию.— «Грызуны науки» в германских университетах.— Абрам Гоц, Николай Авксентьев, Илья Фондаминский, Владимир Зензинов и Дмитрий Гавронский
186

Глава тринадцатая
Партия социалистов-революционеров и Социалистический Интернационал.— Амстердамский конгресс Интернационала.— Борьба социал-демократов против допущения эсеров в Интернационал.— Победа партии социалистов-революционеров.— Брешковская и Житловский в Америке.— Приезд М. А. Натансона.— Переговоры о создании единого фронта всех революционных и оппозиционных партий в России.— Парижская конференция 1904 года
193

Глава четырнадцатая
Возвращение «грызунов» в Россию.— Максимализм Бабушки.— Споры об аграрном терроре.— Письмо Гершуни.— 1905 год в эмиграции.— Тяга на родину
208

Глава пятнадцатая
В Петербурге.— «Сын отечества».— Г. И. Шрейдер и С. П. Юрицын.— Н. Ф. Анненский, А. В. Пешехонов и В. А. Мякотин.— Петербургский Совет рабочих депутатов.— Символический жест Г. А. Лопатина
231

Глава шестнадцатая
В Петербурге.— Н. Д. Авксентьев и И. И. Фондаминский.— Разногласия в партии социалистов-революционеров.— Первый съезд партии.— Перводумье.— Наша печать.— А. И. Гуковский.— Смерть Михаила Гоца.— Абрам Гоц в боевой организации.— Побег Гершуни.— Азеф и генерал Герасимов.— Партия и боевая организация.— Гершуни на съезде в Таммерфорсе.— Гершуни, Азеф и Савинков.— Смерть Гершуни
250

Глава семнадцатая
Конференция партии социалистов-революционеров в Лондоне.— Итоги революции 1905—1907 годов.— Разоблачение Азефа.— Поездка О. С. Минора в Россию и его арест.— Арест Брешковской и Чайковского.— Шишко и Волховской в годы революции.— Правое течение в партии эсеров.— Начало психологического «отрыва» Савинкова
273

Глава восемнадцатая
Наши взаимоотношения с Польской социалистической партией (ППС).— Доклад Пилсудского в Париже накануне первой мировой войны.— Разрыв ППС и ПСР.— Война.— Раскол в социалистических рядах.— Социал-патриоты, интернационалисты и пораженцы.— Циммервальдская конференция.
289

Глава девятнадцатая
1917 год.— Через Англию и Швецию в Петроград.— В революционной столице.— Абрам Гоц.— Народ и революция.— Бабушка, Натансон, Авксентьев, Минор.— И. Г. Церетели и Н. С. Чхеидзе
304

Глава двадцатая
III съезд партии эсеров.— Резолюция о войне и мире и об отношении к Временному правительству.— Князь Г. Е. Львов.— Образование коалиционного правительства с участием социалистов.— Политические трудности
316

Глава двадцать первая
Разнобой в партии социалистов-революционеров.— Правые, левые и левый центр.— А. Ф. Керенский.— Уход кадетских министров и заговор Корнилова.— Демократическое совещание.— Октябрь.— IV съезд партии социалистов-революционеров.— Откол левых эсеров.— Всероссийский съезд крестьянских депутатов.— Петроградский Совет и Собрание уполномоченных от фабрик и заводов
329

Глава двадцать вторая
Учредительное собрание.— Заговор против народной воли.— Страшная ночь
345

Глава двадцать третья
После разгона Учредительного собрания.— Восстание на Волге.— Чехословацкий легион.— Фронт Учредительного собрания.— Уфимское совещание и образование Директории.— Переезд Директории в Омск и переворот адмирала Колчака.— Второй разгон Учредительного собрания
359

Глава двадцать четвертая
Мой отъезд в Москву.— Наша легализация как политическая провокация.— Нелегальная жизнь в столице.— Гоц в Москве.— Прибытие английской рабочей делегации и собрание печатников.— Нелегальный отъезд из России
387

Мемуары

Виктор Михайлович Чернов

ПЕРЕД БУРЕЙ

Редактор *Е. Б. Аузан*

Оформление художника *А. С. Александрова*

Художественный редактор *С. С. Водчиц*

Технический редактор *З. Д. Гусева*

Корректор *А. В. Федина*

ИБ № 1909

Сдано в набор 24.08.92. Подписано в печать 22.12.92. Формат 84×108$^{1}/_{32}$. Бумага книжно-журнальная. Гарнитура «Таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л. 21,42+0,84 вкл. Усл. кр.-отт. 22,26. Уч.-изд. л. 23,32. Тираж 1000 экз. Заказ № 387. Изд. № 7-и/92

Издательство «Международные отношения»
107078, Москва, Садовая-Спасская, 20

Тульская типография, пр. Ленина, 109